**Олег Павлов**

**Школьники**

**1**

Меня ввели в класс во время урока. Мама – я это чувствовал, еще стояла за дверью и ждала. Ребята обернулись. У доски замер ученик с мелком в руке. Учительница, молодая, но некрасивая – звали ее Розой Федоровной – сказала, чтобы я громко произнес свое имя и фамилию. Класс затих. С последней парты строил рожицы почему-то оскорбленный моим появлением мальчик, раздувая шарами щеки, скашивая глаза к переносице... И вдруг выпалил: «Очкарик!» Все засмеялись. Учительница стукнула мальчика указкой по спине, так что он съежился; нервно схватила мою руку своей – цепкой, сильной, и усадила за пустующую в соседнем ряду парту. Весь урок наказанный упрямый мальчишка не давал мне покоя, кривлялся и шипел, обзывая «очкариком», «жирдяем», и такое было со мной в первый раз: ни свою полноту, ни то, что ношу очки, до этого дня не ощущал как что-то обидное.

Прозвенел звонок. На перемене в зале, запруженном детьми, мы сцепились и валяли друг друга по полу, пока нас не растащили взрослые. Потом еще кто-то меня обозвал: за мной бегали да кричали на все голоса уже трое или четверо, а тот живчик был у них заводилой. Я бросался увальнем в стайку мальчиков, отчего им становилось еще веселей. Они стремительно разбегались – рассыпались как бусины, а я пытался их догнать, и, не догоняя, задыхаясь, чуть не ревел.

Мальчика, ставшего моим мучителем, звали Костей. Фамилия у него была смешная для детей, как обзывание, – Кривоносов. Но мальчик относился к своему носу всерьез, заставляя и всех в классе уважать его необычную форму. Мы устраивали драчки на каждой перемене. Он легко уворачивался от моих бросков – а я даже не чувствовал боли от его тычков и только сильнее свирепел. И я тоже получал над ним силу, когда дразнил «кривоносым», издеваясь над его фамилией, хоть нос – вздернутый и сплющенный, как утиный клюв, – смешил сам по себе. Возращались мы из школы одной дорогой. Снова сцеплялись и дрались. Но в этом одиночестве своих поединков, как будто братья, вдруг сроднились.

После уроков шагали к нему или ко мне домой. Так открылось, что и он жил только с мамой. Наши мамы работали, но Костина всегда оставляла сыну записочку – на каждый день, в которой перечислялось, что должен он съесть на обед и сделать по дому.

В чужой квартире было много необычных вещей, таких, как пианино или проигрыватель с пластинками. У Кости была своя комната, своя кровать в уголке, покрытая ковром. А над кроватью, протянуть руку – полки с разноцветными книгами, с фотографиями разных людей и похожими на игрушки сувенирчиками. Меня влекло все чужое. Играть в чужие игрушки. Вести беседы с чужой мамой, когда она о чем-то спрашивала. Нравилось есть чужую еду... Мы честно делили его обед на двоих.

В шкафчике на кухне можно было найти бутылку вина, которую его мама, как нам казалось, прятала. Это вино мы воровато попивали. Замеряли, сколько было жидкости в бутылке, и Костя разливал кислую красную водицу по рюмочкам. Боясь опьянеть, мы мешали эти капли с водой, но переворачивали квартиру кверху дном, воображая себя пьяными. Было, начав плескаться водой, залили пианино. Когда испугались, вытерли насухо, но пианино испортилось – и этого нельзя было скрыть.

Чувствуя себя виноватым перед Костей, я привел его к себе домой, и мы устроили потоп. Не как-то нарочно, а потому что играли. Поливали друг друга из душа. Залили горячей водой пол на кухне и в коридоре, искупались и вымокли до нитки. Ходили босые по воде. В квартире на первом этаже, и без того сырой, дышало паром целое горячее озеро. Казалось даже, что вода прибывает сама по себе, и мы долго ничего не могли с ней сделать, черпая тарелками прямо с пола. Костя вдруг сказал, что, если засыпать ее сахаром, она должна исчезнуть – раствориться. Мы рассыпали по разлившейся кругом воде весь найденный в кухонных шкафах сахар – и он немедленно растворился в ней, однако все получилось не так, как мы с Костей думали. Мы продолжили тоскливо вычерпывать с пола теперь уже совершенно противную жижу. Кое-как осушили квартиру. Босые ноги липли к сладкому полу, отчего было удивительно и весело, как будто мы ходили пришельцами по чужой планете.

Когда мама вернулась с работы, я не увидел в ее глазах усталости и не понял, что за благородный порыв перед своим дружком взваливаю на нее к вечеру труд поломойки. Но я честно ждал наказания – а мама, переведя дыхание, молчаливо замывала до ночи то, что мы с Костей наделали в квартире. Чай пить было не с чем. И пили горький, несладкий – а я терпел эту горечь с гордостью и удивлением, что в который не был наказан мамой за то, что сделал.

Костю я все равно считал счастливее себя, даже когда он сказал, что его настоящая, родная, мама давным-давно умерла. Я чувствовал, что это тайна, и хранил ее, хотя и не понимал, какая же еще могла быть мама у Костика, кроме той, которую я видел, и зачем он помнил о какой-то женщине. Я хранил эту тайну, пока мы не подрались. Зимой. На школьный двор вырвались после уроков своей второй смены, уже в сумерках. С неба сыпался снег. Двор воздушно утопал в белых хлопьях, но воздух был по-зимнему мглистый, сизый, как будто расцарапанный до крови стеклянисто сыплющимися снежинками. Кучка ребят затеяла играть в снежки. А мы с Костей боролись, катались по снегу, тоже играя. Костю я поборол. Он отбежал в гущу, к ребятам, и вдруг громко крикнул: «Твоя мама пьяница!» Ощущение тошноты быстро сменилось во мне приступом исступленной ярости. Но из-за своей неуклюжести я так и не поймал Костю, а все бегал и бегал за вертким, ловким мальчиком, зло на бегу выкрикивающим одно и то же, пока бешенство не исторгло уже из меня освобождающие, торжествующие вопли: «А твоя мама умерла! Сиротка! Детдомовская сиротка!» Костя перестал убегать и кинулся на меня; и тогда уж он, а не я, рыдал от услышанного, орал так страшно, будто его резали.

Этот его ор так меня испугал, что бросился я бежать, спасаться, но тщетно – Костя ледышкой ударился в спину. Растащила нас страшная огромная женщина – директор школы. Она выскочила во двор в одном платье, схватила нас кутятами и поволокла в теплую тишайшую школу, где слышен был гулко каждый звук. Чудилось, что это огромных размеров пузатое существо проглотит нас. Волосы ее имели какой-то нечеловеческий красновато-рыжий цвет, как у огня. Мы были отпущены живыми: но всесильное существо сказало, чтобы завтра мы привели в школу родителей.

Мы бродили в зимних сумерках, что казались глубокой вечной тьмой, и думали, что случится страшное, если наши мамы придут к директору, как будто на суд. Не в силах остановить время, мы с Костей решили его обмануть – и притвориться, что этого дня не было. Мы дали друг другу клятву, что ничего не скажем нашим мамам, а на следующий день ждали, обмирая от звука шагов, прихода директора за нами в класс. Но огромная страшная женщина забыла о нас.

Я все же попал к директору школы очень скоро, за разбитое в классе стекло. Меня толкнул мальчик по фамилии Рябов, и я повалился на застекленный шкаф. Он отбежал, и Роза Федоровна схватила за шиворот меня. В набитом учебниками шкафу зияла дыра, будто и не стекло было разбито, а совершил кто-то кражу. Меня куда-то потащили. Ввели в огромный кабинет, где сидела она, директор школы, насупив брови. Роза Федоровна что-то шепнула ей в ухо, она побагровела и оглушила меня, стоящего перед ней столбиком, безжалостным кромешным ором: «Поставим на учет в милицию, там воспитают! Мать в школу!»

Придя домой, весь вечер трепетал и ждал, что за мной придут. Выключил в комнатах свет, чтоб подумали, что никого дома нету, а чтобы не раздалось звонков по телефону, сдвинул незаметно трубку. Происходящее со мной осталось незаметным для мамы.

А что ее вызывают к директору школы – этого произнести не смог и начал день за днем скрывать. В школу ходил от страха не пойти, на уроках сидел чуть живой. Верил, что в силах этой огромной бровастой женщины отнять меня у мамы и посадить в милицию; школа и милиция были чем-то похожим в моем сознании – тем, куда пойдешь, даже если не захочешь, потому что заставят много-много людей, которые сильнее тебя одного. Мало что зная о милиции, я хорошенько помнил, что именно это слово было страшным отцу – помнил, как он пугался, когда мама грозила позвонить в милицию. Я знал, что в милицию «забирают», думал, на веки вечные. Думал, милиция – что-то похожее на темную комнату, где тебя наказывают темнотой, прячут от родных, лишают дома, не кормят, и все это до конца жизни.

Слово «милиция» застыло в моих ушах. А после появилось легкое заикание; и потом, спустя много лет, приходя от чего-то в волнение или чувствуя страх, начинал заикаться.

Ее звали Аллой Павловной. Слыша ее голос, я почему-то чувствовал себя сиротой. Она могла орать на всякого и, казалось, распоряжалась чуть ли не жизнями детей. Ей покорялись родители: всегда можно было увидеть, как мужчина или женщина одиноко стояли у дверей ее кабинета, распахнутого настежь, и ожидали как будто наказания. Алла Павловна помнила про разбитое стекло. Как я ни прятался от нее, но в спину ударяло басом: «Ты! Ну-ка подойди ко мне!» Не чуя под собой ног, я подходил к ней, громадной своим животом и боками. «Когда будет мать в школе? Пусть платит или вставляет стекло». Сказать ей что-то в ответ я не смел. Поднять глаза тоже было не по себе, потому что мигом отнималось все живое в душе.

Директор школы каждое утро встречала у порога учеников: от первого и до последнего, все должны были пройти мимо нее, показать сменную обувь, да и себя самих, как будто это было вхождение из одного мира в другой, в котором каждый обязывался учиться, не лениться, слушаться, хорошо себя вести, даже уличную обувь пряча в мешки, а надевая в знак смирения тапочки. «Здравствуйте, Алла Павловна!» – громко и старательно произносил каждый. Казалось, она не видела и не слышала. Но вот школьные стены вдруг сотрясал ее окрик: «Мать ко мне! Отца ко мне!»

У меня не было отца. Те, у кого не было отцов, обнаруживались в классе у всех на глазах самым обычным образом. Все дети завтракали. Школьный завтрак стоил три с копейками рубля в месяц. Детям из неполных семей завтрак в школе оплачивало государство. Роза Федоровна не церемонилась и деньги собирала прямо на уроке, проходя с целлофановым пакетом между партами. И ты у всех на глазах ничего в этот пакет не опускал. А когда не хватало на весь класс котлетки или сосиски, то было всегда чувство, что съел чужую – того, чьи родители платили за школьный завтрак.

**2**

Сад школьный по весне расцветал, цвели старые яблони, и в нем было много укромных мест.

Осенью только падалица манила воронье, и сад забыто пустовал. А колючие диковатые кусты шиповника, которым заросла школьная ограда, в сентябре истекали кровинками ягод, кислосладких на вкус. И все жевали шиповник, даже на уроках.

При школе жила сторожиха – пугавшая, как ведьма, тем, что наружу выходила только с метлой или, зимами, с лопатой, в любую погоду совершая одну и ту же молчаливую работу, зыркая недобро из обмоток платка на расшумевшихся школьников. У бабы этой, такой вздутой и краснолицей, словно ее кусали пчелы, жила рыжая крохотная девочка лет шести, дичившаяся всего вокруг, как зверек, подле которой, в свой черед, преданно вертелась маленькая бесхвостая дворняжка. Все школьники знали собачку, и ко всем она глуповато ластилась, а если угостить, то после встречала как благодетеля с радостным визгом – подползала чуть не на брюхе, виляя обрубком так, будто это тикали ходики, у ног совсем вжималась в землю и дрожала. Младшие гладили ее да тискали, отнимая друг у друга. Кто постарше, отчаянные дразнилки, лаяли, строили дикие гримаски, от которых дворняга мучилась и отползала задним ходом. А остолопы, что бегали за школу на перекур, остепенившись, забаву подыскивали посерьезней, со смыслом: подманивали к себе и выдыхали в собачью рожицу клубы табачного дыма. Собачонка чихала, взвывала истошно и мчалась к сторожихиной дочке, своей хозяйке. А от этого воя истошного и от вида насмерть испуганной любимой собачки рыжая девочка пугалась и сама начинала реветь. На плач истошный девочки выбегала неуклюже из каморки баба-сторожиха: всплескивала руками, принималась утешать ее, баюкая, утирая фартуком слезки.

Но собака выла, а девочка плакала опять и опять...

Безликое громоздкое строение школы украшали барельефы великих русских писателей – на высоте второго этажа, над парадным подъездом, выступающие из стены и глядящие друг другу в затылок. Одной из весен подвыпившим военруком был отстрелен нос Горькому. Тогда сбивали сосульки с карнизов и крыш. Но самая заметная повисла на носу у Горького, оплывала, будто свечка, горя огоньком солнечных лучей, и грозила упасть кому-то на голову.

Военрук, желая угодить Алле Павловне, сам напросился на этот подвиг – обещал выстрелом из мелкашки устранить сосульку. На школьном дворе собралась толпа любопытных учеников, которым хотелось посмотреть, как стреляет винтовка. Алла Павловна самодовольно ждала; она лично углядела эту сосульку и подписала ей приговор.

Военрук, полковник в отставке, неизвестно каких войск, кажется, впервые за свое еще недолгое учительство изготовился показать на деле мастерство стрелка. Он очень волновался, вид имел самый важный: крепенький коротышка с грудью-панцирем и руками-клешнями, похожий на рака, и такой краснолицый, словно варили его в кипятке.

Звука выстрела никто не услышал – мелкашка как будто сглотнула пульку, а не выплюнула. И на глазах у всех от барельефа неожиданно откололся нос – упал и разбился.

Военрук был посрамлен. Несчастный полковник в один миг оказался мазилой и к тому же нанес школе значительный ущерб, изуродовав ее парадный фасад. Нос, однако, за все годы так и не починили. Он отрастал у Горького зимами, изо льда, а веснами растаивал. И вспоминался, как только взглянешь, полковник в отставке, горемычный коротышка, что сделал один-единственный выстрел и лишил себя уважения.

Их всех отчего-то было жалко. Преподававшие с мелом в руке, особенно математику, выглядели поневоле неряхами: мел выедал их руки, что становились высушенными, заскорузлыми, будто у маляров, и въедался в одежду, крошась прямо с доски, когда испещряли ее отрешенно оспинками цифр. У многих преподавателей в классах учились собственные дети; сыновья-школьники старили усталых, в возрасте, женщин, чопорно скрывающих к тому же материнские чувства. Чтобы казаться справедливыми, они все одинаково вызывали своих детей отвечать урок по фамилии, как чужих, да за примерный ответ ставили плохие оценки.

Только молоденькие училки, преподававшие иностранные языки, что вороковали на уроках как натуральные немки или англичанки, как-то женственно ласкались к ученикам и были ответно любимы за эту убаюкивающую свою слабость, но появлялись, как солнышко да исчезали, все такие же ласковые, в долгих отпусках, всякий раз заставляя испытать схожее с ревностью чувство; исключая Катерину Ивановну.

Раух, или, как ее звали за глаза, Раушиху – природную немку, с маслянисто-сонливым кукольным личиком, передвигавшуюся по школе при помощи толстенной указки, на которую опиралась будто на посох. Но появлялся даже наперед указки ее живот, плывущий низко над землей наподобие воздушного шара. Воздушный этот шар, как хамелеон, принимал фруктово-ягодные цвета ее платьев – то малиновый, то вишневый, то абрикосовый. Все они, платья, шиты были по одному фасону, навроде сарафана с рукавчиками, да из одной старомодной ткани, из кримплена.

Указкой она и учила – без злости, а как-то даже добротно вколачивая воспитанникам знание немецкого языка, услышать который не на уроках можно было только в фильмах о фашистах. Когда наводила порядок – страх, добродушно засыпала, но стоило раздаться в классе посторонним звукам, как веки ее разлипались, и гора плоти приходила в движение. Она изрыгала, как вулкан: «Ахтунг!» Все замирали, после чего Раушиха успокаивалась, добрела и сменяла отмолившегося у доски ученика на другого.

«Битте, битте...» – наводила она указку, не вспоминая давно никого по именам. Тот выходил бочком, чтоб не попасть под действие указки, и, вставая монашком у доски, за ее величественной массой, начинал читать тот же самый заученный этюд на немецком или стихотворение. Можно было и соврать, нагородить околесицу из каркающих слов – только не запнуться, не замолчать. Этого Раушиха не выносила. Если кто-то замолкал, она просыпалась и багровела не на шутку, произнося: «Айн, цвай, драй – дас коридор зайн!»

Когда-то она побывала туристкой в Германской Демократической Республике, да и то в одном городе, Дрездене, и – стоило вдруг выскочить из учебника его названию – просыпалась, что-то вспоминая, и поощрительно, как бы соглашаясь, произносила: «Я-а, я-а... Дрезден ист гуте штат!» Сама она по-немецки произносила один и тот же десяток предложений, похожих на пословицы; по-русски говорила еще ленивей и короче, словно, заговаривая на этом языке, ей приходилось всплывать из нездешнего, еще более глубокого сна.

**3**

Отчего-то почти все улицы в Свиблове – этой бывшей деревеньке, носили имена полярных летчиков или мореплавателей, – а были еще улицы Амундсена, Нансена, проезд Дежнева... И бетонные плиты жилых домов казались кладбищем давно умерших покорителей Арктики. Ледовая пустыня зияла где-то во мгле и мерзлоте космоса, простужаясь на вселенском ветру, необитаемая для людей. Но одиночки рода человеческого все же побывали там – и вот парадом куцых однородных улиц, где из-под асфальта все еще пробивались к свету какие-то ростки да лопухи, вздумали всем сразу воздать почести, упокоив почему-то здесь.

Этот район Москвы обживали татары, переселенные в шестидесятых годах из Марьиной Рощи. Кроме татар, населяли район деревенские, кто жил еще в деревне Свиблово до времени, когда ее снесли. Было в Свиблово две школы – наша, «хорошая», и та, о которой говорили нам, что научиться в ней можно только плохому. У многих ребят родители учились когда-то в нашей школе, ее и построили первой, еще до переселения в хрущевские пятиэтажки новых жителей. Тех, о ком ничего не знали, в школу принимали неохотно, как будто вынужденно, потому что поселились на закрепленных за школой улице Снежной и проезде Серебрякова; улицы Седова и Русанова отходили другой школе, которой нас пугали.

Пыльные и пустоватые летом, зимой тесные от сугробов, улочки поделены были злобой на свои и чужие. Своих, начинающих спиваться парней, которых ждали или тюрьма, или армия, боялись – а чужаков били, сбиваясь в стаи и отлавливая во дворах. Кто возвращался из армии, обзаводились семьями, шли работать – где отцы, там и сыновья. Свибловские брали в жены татарок, татары женились на свибловских, жили обычно и умирали. От деревни осталось кладбище за оврагом у речки Яузы, где кончались дома, – оно не имело названия, было похоже издалека на свалку металлолома, рыжея ржавчиной крестов да оградок, и хоронили там, самозахватывали на бесхозном кладбище клочки земли, только семьи деревенских – доживших свой век уже в городе стариков и старух.

Свободы, простора, отбыв положенное в школе, искали не во дворах, а на пустырях, где обрывались новостройки, – в оврагах, по обоим берегам обмелевшей, но все еще манящей к своей открытой воде Яузы, и у двух прудов размером с футбольное поле, где летом купались, а зимой расчищали от снега пятачки льда и катались на коньках. На лесистом холме, над той плоской подошвой, где извивалась ядовитой мутной змейкой Яуза, а загнанная в трубу, под землю, разбухала двумя прудами, возвышались брошенная усадьба свибловских помещиков да разоренная церковь с ободранными каменными стенами и с проломленным в темечке череповидным куполом. Оттуда доносился только вороний гвалт.

От деревенских домов, окружавших когда-то усадьбу и бесследно исчезнувших у ее развалин, остались подвалы, погреба – ходы в них, покрывшиеся дерном, сровнявшиеся с землей, то и дело отыскивали, а бывало, что и проваливались под землю. Потому мертвой усадьбы помещиков боялись. В лесу на холме, в завалах усадьбы и разрушенной церкви что ни месяц находили трупы, и можно было видеть, как, прочесывая местность, бродили милиционеры в поисках следов очередного преступления, похожие на грибников.

Мы жили километрах в тридцати от Красной площади и Кремля, но я знал, как они выглядят, только по картинкам. Кругом была как будто и не Москва: чужие одинаковые районы, такие же окраины, где обрывались, даже если доходили, ветки метро. Выше всех домов в районе вознеслась пятнадцатиэтажная высотка, и с ее крыши можно было увидеть простертое до горизонта почти вровень с небом голубоватое и зыбкое московское море, с тысячами далеких домов, похожими на уплывающие кораблики.

Москва, как что-то праздное, начинала манить издалека райскими кущами Ботанического сада и помпезно-разгульной вавилонской громадой ВДНХ. В саду Ботаническом трясли мичуринские яблоки. А на выставке можно было поживиться серьезней. В школе знал я ребят, что ходили на ВДНХ и возвращались со жвачками или заграничными монетками. Они менялись с иностранцами на советские значки. Одноклассник научил меня, что нужно делать, и я, обзаведясь десятком значков с Лениным, тоже стал ходить на ВДНХ, страстно желая подсобрать коллекцию монет.

Чужая речь там слышна была повсюду – и роились вокруг иностранцев назойливые горделивые стайки детей, не давая им нигде прохода, обсыпая особенно густо каждого иностранца с негритянской наружностью. Дети боялись только милиционеров. Что совершаю я плохой поступок, в этом сомнений у меня не было, и я тоже боялся, когда сновал с жадностью под ногами у интуристов, заманивая их золотыми россыпями значков, приколотыми с обратной стороны школьной куртки. Негров считал я хорошими, остальных же как будто обманывал, думая, что иностранцы – это враги нашей страны, и только ради монетки или жвачки улыбался для них, позволял соприкоснуться с собой. Обмен значка на монетку никому и в голову не приходило считать неравным: на значок с Лениным тратил я в киоске «Союзпечать» пятнадцать своих копеечек и вовсе не понимал, что монетка, на которую я этот копеечный значок обменивал, была не чем иным, как американским долларом... Никто не разбирался, сколько и какой валюты за день нагребал в обмен на копеечные значки. И вполне могло случиться, что после, уже в коридорах школы, американский доллар, которых у самого оказывалось полно, с радостью менялся на чешскую крону, ну а уж за африканскую монетку с какой-нибудь пальмовой веткой отдавать надо было и американского дядю, и канадского оленя. Удивляло, что иностранцы чаще всего не брали значков, а давали монетку просто так. Невозможно было понять, отчего они такие добрые.

И вот на выходе с выставки – центральном, под самой колоннадой, человек в штатском вцепляется мне в плечо и начинает куда-то тащить. Толпа кругом заволновалась. Тот старается меня унять, а сам лопочет испуганно: «Спокойно, граждане, спокойно... Я сотрудник...» Затаскивает в какое-то помещение, за билетными кассами – а там с десяток детей на скамейке сидят, уже пойманных, стоят несколько милиционеров да эти, в штатских костюмах.

При виде милиционеров стало тут же до слез стыдно и страшно. Заныла жалобно и вся ребятня. Милиционеры растерялись, а люди в штатском принялись нас успокаивать и обласкивать. В тот миг я почувствовал, что нас не будут наказывать... И воцарилось ожидание прощения, будто все мы ждали, голодные, что нас накормят. Один в штатском спросил, есть ли пионеры, и все дружно ответили, уже по-пионерски: «Е-е-есть...» Он начал говорить как пионервожатый, что иностранцы вовсе не обменивались с нами, а считали, что дают нам, советским детям, милостыню, как нищим. От стыда горело у меня лицо, я чувствовал, как жарко, обжигая все внутри, ходит во мне кровь. Дети стали в очередь к столу, высыпая монеты, отдавая жвачку. От ощущения, что теперь все стало в мире и во мне правильным, хотелось броситься целовать этих добрых дядечек, и живо было чувство, что очистился душой. Нас стали отпускать по одному. Каждый давал честное слово, что больше не будет ходить на ВДНХ за монетками. И я сторонился иностранцев, но не от страха, а из чувства брезгливости, опасаясь их нечистоты, скрытой за блестящим видом и улыбочками.

**4**

Тогда всех не принятых в пионеры, человек восемь, повели в пионерскую комнату, как в баню... И было такое состояние духа, какое приходило до этого только в летнем пионерском лагере, когда наступал банный день: раздеваться вместе со всеми ребятами догола стыдно, но и волнующе; ново и обездоленно держишь в руках полотенце с мыльцем; переживаешь, как бы не разглядели в тебе какое-нибудь уродство, за которое начнут дразнить; предчувствуешь помывку как испытание, а уже после бани с ощущением вымытости ходишь до вечера чужой себе, сам не свой. Мы нестройно вошли в комнату, до этого дня запретную, куда разрешали входить только ребятам с красными галстуками... Вся ее обстановка вызывала в душе трепет, казалась таинственно-торжественной, – и это алое знамя с ликом Ленина, тяжелое своим золотым шитьем и бархатом, что дышало как живое и переливалось светом, хоть даже не колыхалось. Сладковато пахло от почетных грамот, развешенных на стенах – отчего-то они источали сладость. Сияли сталью замершие горны, будто священные сосуды. Там же – в шкафах, за стеклом, покоились безмолвные головы пионерских барабанов, обтянутые похожим на иссохшую кожу процарапанным пергаментом в темных разводах.

В младших классах моим любимым был урок музыки. Он начинался с прослушивания грампластинки.

Бывало, класс разучивал слова, мелодию – и новую песню исполняли под ее же аккомпанемент. Делать это было весело и легко. Но я помню потрясение, когда услышал Гимн. Даже слушали его стоя, и учитель музыки – долговязый мужчина, похожий на смычок, тоже встал у своего стола. Сначала несколько мгновений слышно было из проигрывателя мышиное шебуршание. И стоило грянуть первым же громким звукам – окутала дрожь. Волны ярости, страха, счастья хлынули одна за другой, и я, сам не понимая отчего, стал ощущать в себе это возвышенно-воинственное. Тяжелая толща звуков колыхала душонку, будто щепку, а когда эта волна, достигнув выси, вдруг падала, дух перехватывало. На следующий урок под курткой школьной, за поясом у меня спрятан был меч, как я это воображал: обструганная под клинок деревяшка, которую утащил с урока труда.

Пока разучивали слова, ничего со мной не происходило. Но зазвучала музыка – и что-то воинственное снова повелевало душой; я сжимал свой меч, готовый к неведомой битве, осознавая почему-то как величайшую тайну этот жест, скрытый ото всех. А когда запел, глаза вдруг тепло заволакивало влагой, и, слыша собственный голос, ощущал я такую силу и такой восторг, как будто погиб и воскрес.

Нужно было выучить клятву и сделать свой альбом об одном из пионеров-героев. Пионерский галстук обошел меня ранее только по болезни. Чтобы обладать им, вступил я тогда в соревнование, по-спортивному страстное, очутился в отличниках – но заболел. А не повязав его в числе первых, с год удрученно жевал в памяти эту клятву пионера, помнил ее как обиду на несправедливость; тогда вступить было отличием среди других, а теперь вступление стало уделом отстающих, кто плелся в хвосте класса по успеваемости и поведению. Но волнение явилось снова, а подумать, что в пионеры все равно примут каждого, никто даже из отстающих не смел.

Мы расселись за продолговатым столом, как одна большая семья, и пионервожатая достала стопу уже готовых альбомов, изданных в виде книжек, наподобие детских: больших, мягких, где главное всегда – это картинки, и обратилась с вопросом, а есть ли у кого-то из нас любимый герой и, может, кто-то сам ей скажет, о ком бы хотел делать альбом.

В одном порыве, будто отнимая друг у друга, все начали выпрашивать Павлика Морозова. Вожатая растерялась, а когда прекратила шум, стала сама раздавать альбомы по очереди с таким видом, как если бы назначала судьбу... Мне достался Леня Голиков. Я увидел его на картинке, и стало до слез обидно: ничего геройского, разве что автомат сжимает в руках, сам в тулупе деревенском и ушанке, какой же это герой!

Леня Голиков, казалось, одиноко и просяще глядел на меня с парадного своего портрета... Этого мальчика даже не мучили, как других пионеров-героев, – и отсутствие мучений делало его подвиг в моем сознании каким-то ненастоящим. Свой альбом я украшал, будто могилку. Все шло в ход. И цветная бумага, и даже елочный «дождик». На заседании совета дружины, где в полной тишине принимали наши знания, вожатая сделала мне выговор за пестроту, и о подвиге Лени Голикова рассказал я уже чуть не плача, так что ей пришлось меня утешать, чувствуя, наверное, свою вину. А когда повязывали пионерский галстук и я клялся не пожалеть жизни, чувствовал, что вру. Ко мне являлся много дней грустный убиенный мальчик и светом потухших глаз только о том и жаловался: я убит, я убит, я убит... Было страшно от мысли, что я мог бы не родиться, если бы мама погибла на войне. И я выспрашивал маму: а что ты ела, когда была война? Чем кормили детей? Ее ответ должен был сделаться моей верой, что голодной смертью люди не умирают даже во время войны. А став пионером, больше всего этого боялся: умереть.

Это ощущение, возвышающее да тошнящее, схоже было с голодом. Приготовлением к смерти казались пионерские линейки... В январе, когда умер Ленин, и уже в апреле, в день его рождения, все классы строились шеренгами в спортивном зале – это был такой огромный зал, с дощатыми, как в казарме, крашеными полами, высоченными потолками и зарешеченными наглухо окнами – чтобы стекла в них не разбили случайным отскоком спортивные мячи. Из потолка и стен торчали крючья гимнастических снарядов, похожие на дыбу. Ровнехонько за спинами нашими свисали канаты. И вся эта обстановка заставляла чего-то напряженно, мучительно ждать, чувствуя раздавливающую душу покорность.

Линейки пионерские начинались всегда рано утром, еще до уроков. Оттого, что не выспался, кружилась легонько голова. С утра мало кто успевал поесть, и поэтому стояли мы в шеренгах натощак; помню это голодное ощущение, когда рот затекал безвкусной слюной. По рядам рыскали учителя, проверяя, у всех ли есть галстуки. Голоса их звучали гулко, как приказы... Многие уже стыдились носить пионерские галстуки, считая себя куда взрослее, и без всякой радости повязывали мятые алые тряпицы, доставая их из карманов.

Нашей пионервожатой была девушка лет семнадцати с зардевшимся лицом, белой кожей. Мы звали ее Мариной, будто подружку, ведь у пионеров все были равны и дружны. Пионеры, кто повзрослей, стоя в безликих шеренгах, томились, поедая голодными пугливыми взглядами обтиснутую кукольной юбочкой и пионерской рубашкой девушку. И начиналась линейка. Трубил горн... Воспаряла барабанная дробь... Голоногая пионервожатая маршировала к директору, звонко докладывая о сборе дружины. Аллу Павловну злил ее нечаянный развратный плотский вид – а Марина чуть дышала, не понимая, чем провинилась перед ней. «Продолжайте...» – произносила директор в гробовой тишине. И тогда вносили знамя дружины... Алла Павловна следила за каждым. Если ей что-то не нравилось, то молча подходила к тому, кого приметила, и одергивала, стискивая по-женски губы от злости. Или если замечала, что у какой-нибудь девочки в ушах сережки или подкрашены ресницы, то рявкала на весь зал: «Беляева, ко мне! Вынимай из ушей побрякушки!», «Румянцева! Шагом марш в туалет смывать мазню!»

Бывало, на линейке кому-то делалось плохо, и падали в обморок прямо лицом об пол. Чаще всего случалось это с девочками. Но линейку не останавливали – и этот миг был самый торжественный, жуткий: к упавшей или к упавшему подбегала учительница, помогала подняться, давала платочек утереть разбитый нос и, прячась за шеренгами учеников от недовольного цепкого взгляда Аллы Павловны, бесшумно уводила в медпункт.

**5**

В ту же осень, когда распалась наша семья, а мама и мы со старшей сестрой после обмена, похожего на выселение, очутились в чужой сырой квартирке, и когда я снова пошел в первый класс в новую школу, произошло это событие: взрослый мальчик спас меня на перемене от пинков да тычков... Вдруг я увидел спокойного взрослого мальчика с красивым лицом, похожего на пионера, какими они и могли рисоваться в моем воображении – красивые, благородные. Увидел – и кинулся к нему за помощью, справедливостью, защитой... Я очень хотел, чтобы мальчишки, что клевали меня стайкой на переменах и с которыми в одиночку у меня не было сил справиться, вдруг увидели, что я дружу с таким мальчиком. И тут же соврал, чтобы он захотел со мною подружиться, что могу подарить ему жвачку. Как-то мама приносила мне с работы жвачку. И я верил, что она сможет сделать это еще раз, если попрошу. Мальчику понравилось, что я пообещал ему жвачку. Он пошел со мной в класс, и я показал его притихшим ребятам. Они начали просить у меня прощения, хоть он их даже не заставлял, а просто стоял за моей спиной и смотрел в их сторону.

На следующий день мальчик потребовал обещанное. А я снова соврал и пообещал, что принесу жвачку завтра – и на следующий день прятался от него по углам. Но мальчик хорошо помнил о должке и подстерег меня у класса на перемене, а я снова что-то отчаянно соврал, пообещав уже сразу две жвачки, если он подождет до завтра. Не помню, сколько еще он ждал и верил мне. Мальчик стал злым, когда понял, что нечего с меня взять. Затащил в туалет и стал бить так, как умели они, которые постарше: кулачонками да по лицу, в кровь. И я помню ясно, что это было не больно, а тоскливо. Скованный мыслью, что обманул его, я желал подспудно какого-то наказания, чтоб снова стало мне легко жить, как если бы прощенному. Но мы росли, мальчик помнил меня – и не прощал. А жвачек, чтобы отдать, у меня не было. Мама их больше не приносила.

Чем старше он становился, тем больнее бил. Подстерегал в школьном туалете – отнимал деньги, развлекался, принуждая пойманных ребят делать что-то унизительное. Он побаивался уважительно лишь директора школы, но Алла Павловна обходилась с ним так, как ему льстило. И если гневалась, то все же обязательно вылетало: «А ну-ка, красавец!» А он вальяжно подставлялся самцом под ее тумаки и посмеивался, отбегая, а она меняла тут же гнев на милость.

Он тоже рос без отца, но его мамаша работала горничной в гостинице «Космос», поэтому ему все завидовали. На переменах он уединялся с самой красивой девушкой в школе: со смуглой толстоватой армянкой, что обращала на себя восхищенное внимание школьников большой грудью. Уводил ее в глубь зала, где за спинами одноклассников, как за ширмой, они срастались в поцелуе и не разнимали губ до самого звонка, словно пили что-то друг у друга изо рта с показным наслаждением; один раз, чтобы все это видели, он даже срыгнул через плечо после поцелуя струю слюны. Что не успевали углядеть снующие по коридору учителя, было на виду у школьников, толкущихся в зале, человек шестидесяти из разных классов. По залу блуждал восхищенный и завистливый шепоток. Все ходили парочками, группками, но как будто боялись остановиться на месте и обратить внимание на то, что происходило у окна.

Всякий раз, видя ее отдающейся ему в руки для поцелуя, я почему-то готов был заплакать, как будто он отнимал что-то мое. Я слышал, как он называл ее любовно: «Женушка моя...» А бывало, орал через весь школьный коридор: «Жена!» Я замечал все новые подробности: она стала носить его вельветовую рубашку. Однажды она вошла в только что опустевший после звонка буфет, где я и еще один мальчик, дежурные, убирали за своим классом. Когда девушка обращалась к буфетчице, я услышал ее голос: неожиданно грубый, неприятный. Купила себе эклер и сок. Отвернувшись, встала в двух шагах у окна – а мы с товарищем замерли, пораженные собственной к ней близостью. Отнести пустой стакан ей было лень. Увидев нас, она поставила его на стол, который мы убирали. В этом жесте не было ничего, кроме лени и еще, быть может, презрения. Но мне казалось, что она обратила на меня внимание. Я был с ней рядом, чувствовал ее запах и даже, когда притронулся к оставленному на столе пустому стакану, ощутил тепло – ее, так мне это чудилось.

Спустя всего несколько месяцев, зимой, можно было увидеть, как она, располневшая, стояла на переменах одна и, уже прячась от множества взглядов, смотрела в пустое белое окно. Одноклассники делали вид, что не замечают ее, но сторонились – и как будто выставляли на всеобщее обозрение. Она не выглядела несчастной – только, быть может, злой и еще верила в свою особенность в сравнении с другими. Алла Павловна заходила на этаж и, довольная тем, что видела, произносила во всеуслышание, поверх голов: «Все толстеешь, дорогуша? Ну ничего, будешь следить за фигурой!» И я не знаю, что приходило на ум школьникам, но сам вспоминал почему-то пирожное; как она ела эклер – с любовью к шоколадной глазури, нежному белому крему.

Однажды ее одинокая фигура, в которой, казалось, появилось какое-то уродство, совсем исчезла. Говорили, что ее исключили из школы. Он тоже очень скоро исчез, схлынув весной с теми, кто не хотел больше учиться. Той последней весной он не раз заявлялся в школу пьяный уже с утра. Зачем-то еще ходил на уроки, хотя его жизнь давно стала загульной, взрослой. Алла Павловна не пускала его в школу, а если узнавала, что он все же пробрался и сидит за партой, пьяный, то сама приходила за ним прямо в класс, брала за шиворот и вышвыривала за порог школы. Он оставался до окончания уроков на школьном дворе. Отнимал деньги, а кого постарше – своих одноклассников, что выбегали на переменах бодрячками покурить – посылал за бутылкой, а потом уходил отсыпаться в школьный сад или еще куда-то, один или уже с какой-нибудь приблудной девчонкой, подпоив и ее портвешком. Я столкнулся с ним в то время на проторенной школьниками тропинке; школьная ограда была крепка, но со всех четырех сторон света в бетонном заборе неведомой силищей были пробиты ходы кратчайших путей. Он куда-то брел прочь со школьной территории, а я прогуливал урок и слонялся в ее окрестностях. Он посмотрел на меня, и, наверное, не узнал. Всучивал мне как дружку сигарету. Просил, чтобы помог дойти домой. Вцепился судорожно и не отпускал – от слабости он еле держался на ногах... И я ощутил, как он трясся. Ощутил я это так явственно, что позабыл свой собственный страх и легко себя освободил: рванулся что было сил, а он упал и рыдающе взвыл, но я уже мчался в школу.

**б**

Звали мы его Игорьком, он был ненамного старше нас, но все молодое в нем как будто давно исчезло... Так разительно отличался он от мальчишек, что льнули к его силе, храбрости, глотая с восторгом воздух опасной жизни, а когда смеркалось, разлетались по домам... Отца с матерью он не помнил. Говорил, что родился в тюрьме. Воспитывался у бабки с дедом, но когда вырос, они пускали в квартиру, только если приносил бутылку водки. Нам он рассказывал, что дед приучил его пить водку с шести лет.

Смуглое, казалось, неумытое лицо Игорька одеревенело от шрамов, похожее на бойцовский щит. Рядом с ним мы ничего не боялись. Взгляд его не был угрожающим или властным. В нем подчиняло ровное, спокойное бесстрашие. Оно было как пламя, в котором, даже не чувствуя боли, медленно сгорал человек – или черное что-то, спрессованное в камень. Ради фокуса, чтобы поразить наше воображение, он мог затушить о себя сигарету и не издать ни звука. Говорил он редко и мало. Чаще молчал, как будто даже перед глазами видел все время то, что не в силах был выразить словами. На хорошее откликался смехом, на плохое – сопением. Или вдруг отчетливо произносил, все для себя решая: «сука», «подлюка». А когда волновался, голос его звучал как собачий лай. Он презирал бродячих собак, потому что они всего боялись; любил птиц, но не домашних попугайчиков или канареек, а тех, что кормились на улице, с уважением называя их «ворами» и восторженно наблюдая, когда какой-нибудь воробей красиво и ловко умыкал крошки чуть ли не с его руки.

Кто входил в стаю, где он был вожаком, погружался в таинственный отрешенный мирок, соблюдая его ритуалы... Он выносил за хвост еще живую крысу, оглушенную и пойманную в нашей землянке, – а случалось это что ни день – и проделывал все молча: облил бензином из майонезной баночки, которым всегда и разводили мы огонь, поджег, швырнул... Зрелище устраивалось для всех. Начиная пылать, крыса судорожно оживала. Глядя, как она дико верещит и носится по кругу огненным комком, он приговаривал: «Горит, подлюка...» Так он казнил какое-то зло – что-то жадное, трусливое, подлое. Все мучились, но смотрели. Когда верещание вдруг замолкало, а пламя гасло, становилось легко. Зло сгорало заживо, и только дымился обугленный холмик. Крысу уже не было жалко: каждый убил бы мерзкую тварь, чем смог, найдя ее в землянке.

Много лет я видел Игорька Митрофанова еще в школе, но не смел заговорить или подойти так близко, чтобы обратить на себя его внимание. С ним всегда ходил еще дружок, по фамилии Вонюкин. Вонюкин был рыжим, поменьше ростом и тщедушней Игорька, – у того даже волосы ежились, упрямые и дикие, все равно что иголки. Скуластая сумрачная рожица одного и лоснящаяся прыщавая мордочка другого были отражениями очень разных душ, но что-то делало их неразлучными как братьев. Казалось, они носили одну и ту же одежду; с детства одевала их одинаково бедность, и когда повзрослели, одеждой служили взрослые обноски – добытые неведомо как и расклешенные по старой моде брюки, армейские зеленые рубахи навыпуск да солдатские ботинки. Зимой шатались по улицам в кирзовых сапогах и в телогрейках, пугая прохожих в сумерках своим видом. Им нравилось наводить в районе страх.

Вонюкин с криком и как-то судорожно всегда что-то выхватывал у малышей, особенно если кто-то выходил из буфета после завтрака с пирожным или котлетой, и сразу же отправлял выхваченный кусок себе в рот, будто его и не было. Тех, кто жаловался, он запугивал, пинал. Пожалуй, только я и не уступал сложением Вонюкину, хотя был младше. Однажды, когда он что-то отнял у меня, я навалился на него и опрокинул на пол. И тогда к нему кинулась вся ребятня, кто пиная, кто щипая, кто хватая за волосы и куда-то волоча. Вонюкина с ликованием свергли. Но восстание маленьких рабов было подавлено спустя самое короткое время. Вонюкин вдруг взбежал на этаж с еще одним мальчишкой – и указал ему на меня. Паренек быстро подскочил и ударил меня в живот. Он был куда сильнее, но я в каком-то отчаянном порыве все же стерпел боль и ринулся на него. Мы даже сцепились, но тут подскочил Вонюкин, после чего они в несколько мгновений легко справились со мной и осыпали градом проворных ударов. На помощь никто не пришел: ребята пугливо сбились в кучку и смотрели, как меня бьют. А когда экзекуция закончилась, кто-то с восхищением и страхом шепнул на ухо: «Тебя бил Игорек Митрофанов!»

В моей жизни стало опасностью больше; временами я ощущал присутствие этих двоих где-то рядом, будто они были призраками, что могли появиться однажды ночью, придя за мной даже в квартиру, где я жил. Мне казалось, что Вонюкин не ложился по ночам спать, а тот, другой, которого все боялись, приходил в школу откуда-то из темного сырого подвала. Шли годы. Бывало, я вдруг видел две сцепленные сгорбленные фигурки, что вырастали из темной точки вдалеке или появлялись прямо за поворотом, и хотя тянуло почему-то остановиться, сворачивал или убыстрял шаг. Ни Митрофанов, ни Вонюкин тогда уже не учились в школе. Но я слышал и знал о них больше, чем мог рассказать о себе самом, хотя о таких, как они, не смели громко говорить... Знали дома, в которых они живут, с какими девчонками гуляют, где собираются вечерами, – и никто не хотел оказаться у них на пути. А если кому-то не везло – побитые, гордились этим, будто подвигом, потому что страх перед ними был неотделим от восхищения. Завидовали даже тем ребятам, что ходили под их покровительством, как если бы они обретали недоступную для всех остальных свободу.

В нашем классе учился Саша Федоров – или, как его прозвали за рассудительность и очень серьезный вид, «дядя Федор». Восьмилетка для него была концом учебы – как и многие, дядя Федор надумал идти в училище, чтобы получить профессию автослесаря. Мы ходили в школу без котомок со сменной обувью, считая себя взрослыми – и свободными от этой унизительной обязанности. Если дежурили по школе десятиклассники, то они еще могли не пропустить на урок и заставить подчиниться, понимая, что унижают. Обычно, если цепляли на входе нашего, мы тут же угрожающе обступали одинокую парочку дежурных. Все они выглядели одинаково глупо и смешно в приталенных пиджаках, выглаженных сорочках и папиных галстуках. Они готовились стать студентами институтов и университетов – а нас ожидали экзамены на пригодность к дальнейшей учебе. В тот год нам постоянно твердили, что из трех классов сформируют какой-то один, в котором продолжат учиться только самые умные и воспитанные, а со всеми остальными распростятся. Как будто учителя превратились в судей, а школа – в какое-то странное место, откуда всех не одумавшихся за восемь лет отправляли отбывать наказание на заводы, фабрики, стройки...

Дядя Федор знал, что его ждет ПТУ, и давно перестал бояться школы; задержанный на входе дежурным, не заметил его повелительного жеста – руки на своем плече, смахнул ее, двинулся дальше, но тот схватил его за куртку и рывком притянул к себе. Дядя Федор был обречен и все же начал бодаться, брыкаться – это забавляло его мучителя, и он играючи вертел им, держа как будто на привязи. Я видел это, но во мне не было сил прийти на помощь: побороть смущение перед благодушным красавчиком.

Это в него влюблялись девочки, а учительницы – и молодые, и постарше – сами того не замечая, по-женски кокетничали со смуглым мускулистым блондином. Он родился и вырос за границей. Папа его был послом в африканской стране. Родители отослали его на родину, под надзор бабушки – доучиваться в простой советской школе и зарабатывать комсомольскую характеристику. Но почему-то красавчик, с вызывающей грубостью отказываясь от лестных общественных поручений, зато стал капитаном школьной волейбольной команды и вообще отличником по физкультуре. Если просили рассказать об экзотической африканской стране, особенно учителя, он принимал нарочито глуповатую позу лектора и как на политинформации докладывал о системе апартеида. Презрительная гримаса всегда мучила его лицо. Если бы захотели выяснить, что же известно о новичке, оказалось бы, что ничего о нем до сих пор не знают, а все впечатление производили заграничные вещи, в которые он одевался, и голливудская внешность.

Вдруг раздался треск – оторвался рукав. Дядя Федор оказался на свободе, и, трогая рваный клок на плече, как рану, казалось, морщился от боли. Старшеклассник отступил на несколько шагов и ждал – не пропускал в школу... Уже прозвенел звонок. Возбужденные и почему-то окрыленные, несколько человек решили, что тоже не пойдут на урок. Вдруг дядя Федор вскрикнул: «Пошли за Игорьком... Нужно рассказать Игорьку...» Отправились впятером. По пути поняли, что он ведет нас прямо к Митрофанову, потому что знал его, жил с ним в одном дворе... И чувство, что окажемся приближены к нему, кружило голову, как будто, ищущие правду, мы и могли бы найти ее только у него!

Митрофан с Вонюкиным отлеживались в беседке детского сада. Там они, наверное, мыкались еще с ночи. Взгляд Игорька был хмурым, мутным. Уставшее лицо оплело паутиной морщин. Сначала говорил только дядя Федор. Потом все подняли голос и наперебой рассказывали о том, что произошло в школе, чувствуя, как бывший ее ученик, проснувшийся утром на скамейке детского сада и страдающий теперь похмельем, начинал что-то обдумывать и понимать. Вонюкин крикливо порывался прогнать нас, наверное, ревнуя к дружку, у которого просили мы помощи, но почему-то Игорек поднялся – и, казалось, сам же повел нас за собой. Своего обидчика вызвал на перемене сам дядя Федор. Он принял вызов – и стоял один в нашем окружении, глядя все с той же презрительной гримасой; а старшеклассники, вышмыгивая перекурить, жались в сторонке у парадного входа. Вонюкин сорвался и бросился было на красавчика, но его остановил окрик Игорька, вдруг взявшего его под защиту. Драться решили без свидетелей. Игорек велел нам ждать на школьном дворе, а они направились куда-то в сад, который будто бы глухо затих, когда скрылись высокий спортивный парень и коренастый оборвыш.

После драки, которой никто не видел, новенький еще долго не показывался в школе – а у Игорька не заживала ссадина на разбитой губе. Он с удивлением трогал ее пальцами, будто живое существо, и восхищался: «Вот все целое, а губищи – это у меня всегда в кровь!» С того времени мы каждый вечер собирались в беседке детского сада или ходили выводком за Игорьком, не понимая, что порой ему было некуда идти. Постепенно он свыкся с нами, стал меньше пить и думал уже как будто обо всех. Вечно недоволен был Вонюкин. Он раздавал глумливые клички, но Игорек за ним не хотел повторять, и поэтому никто уж не откликался. Вонюкина с детства дразнили то «рыжим», то «вонючкой». За что ему досталась такая фамилия, он не понимал и мучился, мечтая ее при получении паспорта поменять на какую-нибудь красивую. Но для окружающих было пыткой даже смотреть на него – и видеть по всему лицу вздувшиеся гниющие прыщи.

Наше времяпрепровождение заключалось в поисках некоего важного дела, которое мы окутывали тайной, если что-то тайное и не увлекало за собой: то мы искали клад на берегу Яузы, то вознамерились своими силами раскрыть убийство, когда на территории детского сада однажды был найден так и оставшийся неопознанным труп мужчины. Не понимаю, что было игрой, а что жизнью. Мы слушались Игорька. Не знаю, когда он был самим собой – превращая с нами свою жизнь в какую-то военно-спортивную игру или, в другое время суток, исчезая по ночам вместе с Вонюкиным и появляясь – похожий на мертвеца, с мертвенно-сизыми губами, мертвым взглядом. Вонюкин ухмылялся и говорил, что он вор и умрет в тюрьме, раз уж там родился, – и это Игорьку льстило, нравилось, как будто успокаивало нервы. Он придумал плавать на пенопластовых плотиках по Яузе и рыть землянку на зиму. Он воображал себя капитаном пиратской флотилии, командиром фронтового блиндажа, а мы были его морячками и солдатиками, хотя всерьез учились терпеть боль, отвечать за свои поступки и даже слова. Но научить чему-то житейскому Игорек не мог, разве что пугал рассказами о тюрьмах с лагерями, которых знал столько, будто сам отсидел полжизни где-то там, за колючей проволокой и решетками. А потом поучал, что надежнее всего в жизни – работа автослесаря или хотя бы крановщика; они с Вонюкиным пошли в училище, где учили на крановщиков.

Чтобы не отличаться от него, каждый обзаводился телогрейкой да кирзовыми сапогами. Я свою выпросил у бабушки. Она работала на почте и получила телогрейку как униформу на зиму. А на кирзачи выклянчил у нее же обманом десять рублей, обещая, что потрачу на покупку каких-то дефицитных кроссовок, и долго ходил с дружками у стройбатовских казарм, пока один служивый не перекинул пару стоптанных сапог через забор, за что я тут же просунул в щель свой червончик, обмирая и от гордости за себя, и от счастья. Это было одеждой для какой-то особенной мужской жизни; она обнимала собой, баюкала, грела, заключала в приятную сильную тяжесть, защищала и утешала, будто броня, была сигналом для своих и чужих.

В кинотеатре «Сатурн» каждое воскресенье последний сеанс был сходкой; а если не приходили показать себя – тех в Свиблове не признавали за силу. В сумерках просмотрового зала, где вставали широкоэкранные тени фильма, выясняли под шумок накопленные за неделю обиды или сговаривались о делишках. Но мы жадно смотрели фильм, подавленные, как лилипуты, размахом экрана, и ничего не боялись, потому что за нас все улаживал Игорек. Одинокая фигурка Игорька в это время передвигалась по залу, он кого-то укрощал, кого-то мирил. Там, на последнем сеансе, в тепле и под укрытием вальяжной темноты, собирались только дворовые палачи да уличные хозяева чужих жизней. И мы тоже сидели в их гуще, будто незваные гости, содрогаясь от того, что творилось на экране, и от визга пьяных шлюшек, елозивших на коленях у взрослых парней. После сеанса толпа вываливала в ночь и катилась шумным дружным комом, пока постепенно не таяла. Одни исчезали в одних улицах, другие растворялись в черноте других, тот сворачивал за угол, а этот шел прямо или цеплялся к первой попавшейся компании, откуда пахло винцом, и отправлялся сам не зная куда и с кем, чтобы не пропасть в одиночку.

Праздники тоже собирали толпу, когда несколько раз в год одаривали зрелищем – салютом под открытым небом. В разных уголках Москвы, где открывался хоть какой-то небесный простор, стекались на ночь глядя тысячи и тысячи людей. Люди стояли как потерянные, забытые и будто в ожидании пришествия устремляли лица в чужевато-пустое до этих мгновений небо. Раздавался гром, взлетал и взрывался горящий желтый шар, все кругом озаряло жаркое пульсирующее сияние, и становилось светло, как при свете дня. Каждый удар салюта встречали победные вопли, свист, улюлюканье, рвущиеся на свободу из людских глоток, будто совершалось что-то бесповоротное и великое. Эти митингующие толпы держались до последних всполохов. А когда небо вдруг гасло, народ умолкал и расходился.

Милиция следила, чтобы из толпы не доносилось матерных выкриков и не было драк, хотя этим обычно и кончалось, как и тогда, в ноябре, у памятника Рабочему и Колхознице, когда отгремели последние орудийные залпы, рассыпавшие в ночном небе кроваво-желтые конфетти.

Игорек обещал купить вино, и каждый готовился быть пьяным, чтобы ехать смотреть салют. Встретиться было условлено в детском саду, где и всегда. Я еще не испытывал, что такое быть пьяным, но почему-то не боялся того, что произойдет. Игорек пришел с большой бутылкой за пазухой, которую называл «бомбой». Воздух уже залили чернильные сумерки, потрескивал дождь. Слезливые огоньки домов удаляли их же баракоподобные темные очертания. Пришла моя очередь. Я хлебнул из пущенной по кругу бутылки, не показывая вида, что делаю это в первый раз.

Карамельная сладость запеклась во рту и на губах. Я прислушивался к себе и ждал чего-то, схожего с ударом, но приторная жидкость из холодной бутылки вдруг превратилась во мне в доброе тепло. Тот первый глоток был полон доброты и тепла, от которых кружило голову, как от переизбытка кислорода; я снова прильнул к обогретому губами ребят, теплому и влажному сосцу грудастой бутылки, ощущая плаксивое чувство уюта и родства со всеми, кто из нее пил.

В тихоходный пучеглазый автобус, что ходил по маршруту от улицы Русанова до ВДНХ, пьяные компашки врывались на каждой остановке. Помню, сжатый человеческими телами, я чувствовал себя в толще какой-то сильной воды, которая будто бы дышала мной и плавно качала из стороны в сторону в своих невесомых объятьях. К памятнику Мухиной свибловские пошли толпой – и влились в огромное людское море. Меня несло со всеми. Помню крики радости, громовые раскаты, разноцветный огненный дождь, падающий с неба. А потом озверелые вопли и зубовный скрежет драки: после салюта – все равно что по команде – пошел район на район, толпа на толпу, как фокусники, доставая из воздуха солдатские ремни, самодельные нунчаки, велосипедные цепи, которые засверкали в ночи над головами. Я не успевал опомниться в бешеной скорости кружащихся ударов и почему-то застыл с опущенными руками, а вокруг бушевало и гудело это побоище. Казалось, я был невидим и неуязвим. Оно не тронуло меня и не задело. В сознании медленно возникало то, что происходило не со мной. Прямо на моих глазах дрались двое парней. Они били друг друга наотмашь, будто слепые. Только сжатые зубы, принимая удары кулаков, издавали сухой хруст.

Стоило засвистеть милиционерам – и все бросились с площади перед памятником врассыпную. Я очнулся в ночном автобусе, где было светло и пустовато, как в больничной палате. Человек тридцать возвращались домой. Многих недосчитались, и думали теперь, что их поймала милиция. Одни хвастали полученными ранами, другие – собственной силой. Гордились, что в сегодняшней драке Свиблово победило Пятый микрорайон, но мне было все равно. Воздух сверлил одобрительный гул. Неожиданно я осознал, что мною тоже были довольны. Кто-то видел и рассказывал, что я завалил несколько «пятаков», – обознался или соврал, но сам я не открывал рта и опустошенно молчал.

К своему дому я шел один по вымершей улице. Вытрезвленная временем и холодом голова была как чужая. Качались на ветру, расплескивая желтый жиденький суп, фонарные тарелки. Шарахались по асфальту тени, выплеснутые как помои. Отовсюду в мой мозг сползались по-тараканьи какие-то шорохи. Вдруг по спине пробежал знобящий страх, а затем из темноты и шорохов повеяло ужасом: я почувствовал чье-то присутствие, что-то живое, если не шедшее следом, то наблюдающее за мной. Не знаю почему, но мне почудилось, что кому-то нужна моя жизнь. Это было как предчувствие смерти, столь же бессмысленное, сколь и пронзительное. Я представлял, что сейчас из темноты навстречу мне выйдут незнакомые парни, мне так и виделось: этой ночью, сразу же после одной расправы, в Свиблово пришли, чтобы отомстить, они, «пятаки», у которых, наверное, кого-то убили наши, а завтра здесь найдут труп, потому что теперь они должны убить, – так уже было, я знаю, мне рассказывали! Справа был дом, пятиэтажка, в которой не светилось ни одного окна. Слева тянулся не застроенный ничем пустырь – одинокие голые кустарники, холодная земля с остатками еще зеленой травы, по которой этой ночью в ноябре почему-то стелился влажный тяжелый туман. Свет, опускавшийся парашютом с высоких фонарных столбов, тоже окутывала его дымка. Вдруг за кустами уже отчетливо послышалась возня и какое-то мужиковатое кряхтенье. На свет точно бы с большой высоты плюхнулась огромная серая ворона. Она зыркнула в мою сторону и выжидающе замерла, наблюдая, что я сделаю в ответ. Осевшая птица производила впечатление больной или раненой, по крайней мере я чувствовал, что ей трудно взлететь. Но стоило мне понять это, как она совершила над собой усилие – и вспрыгнула, начиная толкать себя крыльями вперед, а в коготках ее намертво было схвачено что-то дохлое. Она смогла пролететь со своей добычей десяток метров. Но затем все повторилось опять, и я успел заметить свесившийся в воздухе крысиный хвост...

Дохлая крыса была тяжелее вороны, и та выбивалась из сил, перенося в ночи свою добычу.

Все было ясно, но я бросился бежать к своему дому, как будто наперегонки со смертью; я бежал по спящей пустынной улице и яростно ревел, чтобы освободиться от страха, воображая, что сметаю на своем пути всех врагов.

Зимой местом наших сборов стала землянка, где было тепло и светло от самодельных свечей из колотого на куски парафина. Мы устроили свое убежище в стороне от людей и домов. Парафин приходилось воровать, остальное доставалось даром, со свалки... Бросовая деревянная тара, чтобы топить «буржуйку», которую сделали из найденной там же бочки. Выброшенный диван. Автомобильные кресла. Облезший полированный столик. Колченогая тумбочка. Все это принадлежало только нам. В землянке был один на всех магнитофон, который любовно называли «Электроникой». Весь раздолбанный, перемотанный изолентой, он был как маленькое переносное кладбище – в одну выемку укладывали братскими трупиками батарейки, а в другую – похожую на гробик кассету. Батарейки испускали дух в магнитофоне, на последнем издыхании из черных скорбных дырочек динамика доносился один и тот же заедающий похоронный марш, в который превращалась любая музыка, записанная на кассетах, даже рок-н-ролл. Был и свой телевизор – стоял в углу для красоты, отражая в своем мертвом экране огоньки самодельных свечей и наши странные лица.

Проникали в землянку ползком, через лаз, и там, на дне ямы, тоже не разгибались, иначе можно было ушибить голову, зато она была широкой и непотопляемой – крытая в два наката досками, полотнами почти новенького рубероида, законопаченная паклей, засыпанная с холмиком землей. Постепенно все свыклись, что поселили себя на свалке. Так решил Игорек и место это выбрал сам – а ему никто не перечил. Он говорил, что оно самое спокойное. Здесь жила, стая бездомных собак и слетались кормиться птицы, порой даже утки; свалка обрывалась у берега Яузы, что ни в какие лютые морозы давно уж не замерзала, нагретая заводскими стоками, и утки оставались на реке зимовать.

За свалкой никто не следил, мусорные машины опорожнялись на этом пустыре у Яузы по ночам, скрытно; наверное, не доезжая до полигона, экономили время и делали больше ходок – перевыполняли план. Мусор был унылый, и редко что в сваленных кучах удивляло глаз. Рылись, мечтая найти, например, золотое кольцо, – а находили ничего не стоящие частицы чужих мирков, с которыми вдруг жалко становилось расставаться; уносили – и не понимали, почему же какие-то люди захотели от этого избавиться.

Вещи со свалки оказывались точно бы волшебными, заставляя переживать до этого неведомое и мучиться непонятным. Один раз я нашел в картонной коробке старые грампластинки. У меня был проигрыватель, оставшейся от сестры, и я принес их домой. Сквозь шум и треск звучало фортепьяно – возвышенная тоскливая музыка казалась зовущей в другую жизнь. Я пытался что-то представить, закрывая глаза и долго слушая, но не мог. Видел черноту и как бы фосфоресцирующую пыль, начиная поневоле чувствовать к себе жалость и с удивлением думать, что было б со мной, если бы я вдруг ослеп: открыл глаза, но увидел бы ту же самую пульсирующую черную пустоту.

Еще помню, как раскопал в мусоре чемодан, который оказался набит письмами, почтовыми открытками... Все было порвано на клочки и рассыпалось в руках – кроме телефонной книжки, слишком плотной, чтобы ее можно было разорвать. Казалось, она еще хранила чье-то прикосновение: пухленькая, вытянутой формы, в изящном переплете, похожая на дамский кошелек. Почему-то в ней было много фамилий с телефонами и адресами в столице Югославии Белграде. Поскольку в ней не все страницы были исписаны, я не задумываясь превратил ее в свою, а для этого, где оставалось место, похожими синими чернилами как можно ровнее вписал телефонные номера одноклассников и маминой работы. Я брал ее с собой в школу, показывал нарочно ребятам и говорил, что у меня есть знакомые за границей – в Белграде, где я будто бы когда-то бывал. Чужие фамилии выучились почти наизусть. В моем сознании они принадлежали каким-то мальчикам и девочкам, с которыми я уже давно дружил. Югославия стала вдруг моей самой любимой страной, но только однажды я увидел ее название – на афише кинотеатра «Сатурн», там показывали югославский фильм. Вход на «любовную драму» был запрещен детям до шестнадцати. Возможно, я становился слишком робок прямо у порога своей мечты и к тому же успел надоесть раздраженным одинаковым старухам, дежурившим у входа, вместо того чтобы хоть раз суметь им понравиться или разжалобить. Никакие ухищрения не помогли пробраться на сеанс – и уже купленный в кассе кинотеатра добрым дядечкой или тетечкой билет, и серьезное взрослое выражение, которое я как мог старался придать своему лицу, и ботинки на самой толстой подошве.

Дно нашей земляной ямы, казалось, кишело мечтами. Они возникали что ни день в замороченных куревом, кричащей из магнитофона музыкой да карточной игрой головах, и пацаны начинали бредить неисполнимыми желаниями, говорили и говорили до хрипоты, чувствуя себя заговорщиками и тут же превращая все в тайну. Главной у всех была мечта о каком-то путешествии. Игорек говорил, что если сделать весной плоты получше, то по Яузе можно уплыть из Москвы, а там добраться и до больших рек; просто плыть по течению, устраивать стоянки с кострами на берегах, питаться пойманной рыбой. Его словам верили, да на словах все и было легко, как будто они переносили по воздуху даже не чувства и мысли, а время, реки, плоты. Легко было ждать и далекой весны. Но приготовления все же начались. Для побега из Москвы нужны были деньги. Кто-то додумался, что добывать их можно здесь же, на свалке, и тогда освоили муравьиный, но честный промысел: собирали в мусоре бутылки с банками, сдавали в пункт приема стеклопосуды, получая за сданное когда сколько, но всегда не меньше трех рублей.

Работать должны были все. Деньги общие хранились в землянке, о тайнике знал каждый из нас – их прятали в пустом чреве телевизора. Сосчитали, мечтая, что к маю можем скопить рублей пятьсот. Но скопленное то прибавлялось, то таяло: Игорек безвольно уступал нашим же уговорам всего разок потратиться на кино или съездить всего разок на ВДНХ и покататься на аттракционах. К Новому году в копилке было рублей пять. Тогда на общие деньги решили купить вино, потому что праздники мы отмечали уже вместе, как будто семьей.

Новогодняя ночь началась для меня за праздничным столом с мамой. А после двенадцати я быстро собрался и, сказав, что иду кататься с ребятами на горках, побежал в землянку. Игорек восседал там уже пьяненький, щедрый, подавая полный стакан. Я выпил, думая, что повторится все, как было в прошлый раз, но, когда пошли веселиться на горке, пил на морозе еще и еще, начиная слабеть. Может, вино было другое, крепче, или все кругом – стремительней и просторней, а морозный, обжигающий дыхание воздух – свежей.

К черной излучине Яузы издалека спускались плавные склоны, у которых выстроились последние высотные дома. В ту ночь они горели свечками в пышном снежном торте – столько его намело к этому дню. Но та первая январская ночь была полной глубины и покоя, и не стало метелей, чтобы их задуть. У берегов огромной белой реки с ее застывшими снежными волнами гуляло множество семей, подвыпивших компаний и всякий празднующий народец. С визгом и хохотом, поднимая искристые брызги, в нее бросались на санках или ныряли в чем были, скатываясь на животах и спинах до самой Яузы, а выползали наверх в новых одеждах, похожие на снеговиков. Кого-то кидались спасать глупые верные собаки, снующие всюду за хозяевами, потом начиная кружиться и лаять от восторга, что искупались в снегу. Тут же стреляли бутылки шампанского.

Зажигались звездочки бенгальских огней, мерцающие и там, на голубовато-серебристых склонах, по которым рассыпались, наверное, сотни людей, – и, казалось, в небе.

В ту ночь моя душа как будто отошла от тела. Я видел перед глазами только небо. И когда в глотку лилось вино... И когда катился с горы, а потом бездвижно лежал на снегу... И когда хотел подняться, но падал... Небо, небо, небо! Это было легко и приятно. Чудилось, что засыпаешь, лежа на мягкой перине. И когда небо вдруг исчезло, а вместе с ним и явь, что-то разверзлось подо мной, и я точно бы начал падать на дно воронки, которая бешено кружила в страшной черноте. Я рвался изо всех сил наверх – но не мог пошевельнуть даже губами. Только душа легко выпорхнула из-под тяжести век, как будто и была моими глазами. Черная воронка и весь ее ужас тут же исчезли: я лежал с открытыми глазами и смотрел на небо. Я чувствовал, что живу, только пока вижу его. Я уже не помнил, что веселился с пацанами и пил вино. Я думал, что почему-то умираю один где-то на краю зимы. Только мороз. Только голые руки в снегу. Ее, зиму, я даже слышал, это была ее долгая гулкая тишина. Я мог лежать умирающим на поле великой битвы в каком угодно веке и чувствовал бы, наверное, все то же самое, что и замерзая тогда на снежной перине парализованным маленьким человечком: я мучился лишь страхом, не понимая, что же со мной произошло.

Последнее, что я мог увидеть в своей жизни, – это ночное январское небо, покрытое, чудилось, льдом, все еще темным, как вода, но уже с новой зеркальной поверхностью, в которой отражалось лишь все такое же новое, сверкающее и блестящее.

Но обо мне вспомнили, меня нашли. Когда я исполнил чей-то приказ сунуть два пальца в рот, мне казалось, что это хлещут мои же несчастные внутренности. Я вернулся к жизни с этим запахом во рту. Сохлая прибрежная трава выше человеческого роста понуро стояла в сугробах. За ней чернела и мерцала незамерзающая вода, что тихо и чуть заметно проползала стороной, по течению. Тогда, находя себя у берега Яузы, я поневоле увидел все наоборот. Близко – этот обретенный вместе с жизнью берег, а там, далеко, где маячили высотки домов, бессмысленное чужое копошение праздника.

Никто не помнил, когда я вдруг пропал и когда меня нашли. Я сам не понимал, сколько же пролежал без движения на морозе. Все это могло быть и одной минутой, показавшейся вечностью, и долгим временем, которое, однако, пролетело в моем сознании как мгновенье.

Наутро после новогодней ночи я валялся в постели, мучимый жаром легочного воспаления и страхом перед самим этим состоянием умирания, которое так легко овладевало мной и потрясло еще там, когда валялся ни живой ни мертвый у Яузы. В постели меня качало, будто в лодочке, и все еще мутило, наверное, от остатков алкоголя в крови. Я похлебывал горячее молоко, с мужественным видом принимая заботливость растерянной матери, и чувствовал себя почему-то стариком – шамкающим, дряхлым, близким к смерти. Я болел весь январь и от безделья взялся читать учебники, не желая возвращаться в класс инвалидом по всем предметам.

Пацаны все это время не давали знать о себе. Я вернулся в их жизнь после месяца небытия, уже, наверное, чужой. И тоже почувствовал, что все стало по-другому: у Игорька появилась любовь. Малолетних шлюшек было не так уж много, и они быстро оказывались на слуху. Эту звали Галей, а на улице Галкой-цыганкой. Она пила, курила, матерно ругалась, потому что хотела быть похожей на пацанов. Обрюзгшей уже в четырнадцать лет девчонкой, похожей на старую цыганку, если и соблазнялись, то спьяну – а потом гнали от себя. Она росла с нами, у всех на глазах, мы вместе учились в школе, а кто-то и в одном с ней классе. Но я почти не помнил ее и не замечал все годы, кроме того времени, когда она вдруг стала обращать на себя внимание большой грудью. Глуповатой некрасивой девочке, наверное, это было приятно. Она, наверное, почувствовала в этом неожиданную силу, превосходство. И ее грудь лапали взглядами даже взрослые ребята. Чтобы получить власть, увлечь, Галке нужно было делать с ними то, что она потом уж делала со всеми, кого еще могла соблазнить. Но ее бы не пустили после этого в общее веселье, компанию, а уж тем более в свою жизнь. Красивые, пусть и гулящие девчонки получали за это возможность властвовать над парнями, которых все боялись, веселиться на их деньги если и переходя из рук в руки, то как будто по любви. А Галка брала деньги хоть за раз, соглашаясь делать это с кем угодно.

Игорек боялся женщин. У него не было о них даже разговоров, обычных для парней. Женщины для него были чем-то вроде милиции, о которой он тоже молчал и которую, казалось, брезгливо, но все же боялся. Не знаю, влюблялся ли он когда-то до этого. Думаю, это произошло с ним в первый раз – и потому, что Галка-цыганка стала к тому же первой в его жизни женщиной. Внешность его и повадки могли только вызвать отвращение у обыкновенных девчонок, а шлюшки к нему тоже не липли, как и он к ним, потому что даже эти спивающиеся пропащие душонки тянулись к шику, деньгам, комфорту, которых с Игорьком не было бы: когда он воровал, то мучился, а мучаясь, все пропивал, ходил в обносках, жил где попало, прятался от людей.

Игорек знал ее, но злился, если видел, и говорил не раз, что Галка – «крыса». Она боязливо пробегала мимо, унося в своих мстительных глазках то ли обиду, то ли злость. Болтать Галке о том, что говорит о ней за глаза Игорек, мог только Вонюкин. Он крутился кобельком вокруг ее запахов и давно не одалживался, получая, когда хотел, свое. В новогоднюю ночь Галка рыскала счастья, ждала праздника, приставая то к одним, то к другим, но ей даже не наливали. Она бы и осталась в ту ночь одна, но подвернулся Вонюкин. Своего вина у него не было, поэтому повел в компанию, зная, что Игорек, уже пьяненький и добренький, стакан ей все же нальет.

Она смеялась, веселилась, сидя в обнимку с Вонюкиным, но поглядывала за Игорьком. Вонюкин любил подпаивать дружка, чтобы чувствовать себя потом значительней и сильней. Если Игорек выпивал в меру, то просто становился веселеньким. Если перебирал, начинал жаловаться на свою пропащую жизнь, а под конец плакал и жалобно мычал, не выговаривая слов. Но тронуть его и тогда было опасно – он тут же вспыхивал, приходя в бешенство. Вонюкин подливал ему, Игорек мычал, но что-то случилось.

Говорили, тот просто усмехнулся – и полетел от удара в снег. Добивать Игорек не стал. Тут же все забыл, простил. Вонюкин затих, потом потихоньку стал усаживать Игорька поближе с Галкой – и как будто шутя, для веселья, начал их женить, играя в свадебку. Игорьку стало весело и хорошо. И она смеялась, пила теперь уж с ним в обнимку, шептала «мой цыган», «мой черныш». Когда все выпили и праздник на горке стал затухать, а пьяненькие разбредались кто куда, Вонюкин с Галкой поволокли Игорька в землянку – и там она осталась, а Вонюкин ушел. Сам он потом хвастался, что устроил их «первую брачную ночь», желая от Игорька благодарности. Но, зная его, мы понимали, что хотел он сделать что-то другое. Наутро Галка-цыганка встречала всех в землянке как атаманша. Игорек угрюмо молчал, но терпел. А стоило появиться выпивке и начаться поминкам по празднику, повторилось, что было.

Казалось, что Игорек с Галкой притворяются влюбленными; но оба они и могли только притворяться, как будто вставляя вместо чувств протезы... Она – что жалеет, он – что любит... Они притворялись, что могут быть счастливыми, иметь детей, семью... У него уже был паспорт, он отвечал как взрослый человек за все перед законом, но Галке-цыганке до совершеннолетия оставалось два года. Он сам же с удивлением и восхищением говорил, что Галка, если бы захотела, могла его посадить. Их бы расписали, если бы она вдруг забеременела, но как было похоже, это с ней почему-то уже и не могло произойти. На словах она «беременела» чуть не каждую неделю, приводя Игорька всякий раз в торжественный трепет и делая неожиданно покорным, когда чувствовала, что он выходит из подчинения. Он дрался за ее «честное имя» на улицах, но когда сам же ревновал, то нещадно бил. Игорька страшило, что она его однажды бросит. Галке же была страшной мысль уйти от него – но вела она себя еще более бесстыже, как будто бесновалась, чувствуя, что он не отпустит ее от себя живой.

Так как водил ее Игорек повсюду за собой или держал без выхода к свету в землянке, то делать это Галка могла только там, в этой норе, из которой он ее не выпускал, приставляя и нас к ней как охрану. Когда его не было, она липла в землянке к пацанам. Но мы пугливо выбегали наверх и ждали там Игорька – а при нем молчали. Это Вонюкин в его отсутствие делил с Галкой-цыганкой «супружеское ложе», которым стал выброшенный кем-то когда-то диван. Но и тогда все молчали, жалея Игорька, да и почему-то Галку с Вонюкиным.

Игорек стыдился и не давал ей делать того, что хотела, только тогда, когда Галка, как бы играя с пацанами, заголялась – а дразнила нарочно его, чтобы заставить ревновать и страдать, быть потом избитой, снова орать про свою беременность, послать покорного и поглупевшего за выпивкой, чтобы в который раз отметить это событие, напоить до жалобного плача и стонов, а потом убаюкать, как младенчика, что находился в полной ее власти... Помню, однажды напившемуся до бесчувствия и только жалобно мычащему Игорьку она у всех на глазах со смехом всунула в рот свою обвисшую, как у кормящей суки, бухую грудь – и он, засыпая, начал ее блаженно сосать.

«Галка-цыганка хочет споить Игорька... Он ведь сам ее крысой называл... Скорее бы его в армию забрали, пока она ничего не сделала... А нам куда... Пропал Игорек... Все, пора по домам... Хватит этого... Ему и дела больше нет до нас...» – шептались пацаны. Но бесприютность, которую чувствовали, снова и снова сгоняла в землянку. Мы еще верили, что придет весна, Игорек вспомнит о реках и плотах, все станет по-прежнему и он поправится. Он никого не обижал и не давал в обиду другим, но становился все молчаливей и мрачнее. Только твердил сам себе под нос: приду из армии, работать буду крановщиком, женюсь на Галке... Когда у них в землянке были мир да любовь, то из трубы, что выходила наружу, чуть возвышаясь над покатым холмиком земли, валил густо дым: топили как в бане, лежали там голые. И другие заходить в землянку не смели. Стояли ждали, когда высунется уже одетый Игорек и позовет. Но могли не дождаться. Слышали противные стоны, доносившиеся как будто из-под земли, – а там, где стояли, чувствовали под ногами мерную сильную дрожь. Докуривали. Плевались. Расходились кто куда, нужные только сами себе, да еще Вонюкину. Тот незаметно становился за главного... Приказывал. Решал. Тоже возмущался, подзуживал – и за это начинал нравиться ребятам.

Как-то уже весной дядя Федор нашел на свалке побитый дырявый эстрадный барабан. На него натянули полиэтиленовую кожицу – и он зазвучал, и мы размечтались, что если еще синтезатор с гитарой найти, сразу сделаемся знаменитыми. Но собирать бутылки стало как-то лень. Поэтому решили обойтись без синтезатора. Будущей рок-группе тут же придумали название: «Свалка». Кто-то приволок из дома гитару. Она дребезжала, надрывался барабан, и под этот гвалт, только и стараясь перекричать, дико вопили всего одно слово: «Свалка! Свалка!» Эту песню записали кое-как на магнитофон и трясли заедающую «Электронику», извлекая долгожданные звуки, слушая с восторгом то загробное урчание, которое делало ее, эту песню, еще таинственней и чудесней.

Через несколько дней мне шепнули, что Вонюкин залез ночью в какой-то павильон на ВДНХ и унес стереоколонку. О ней даже не мечтали. Но теперь она оказалась в наших руках. Ее спрятали на чердаке школы – так придумал сделать Вонюкин, опасаясь, что Игорек заставит от нее избавиться, как только узнает о краже. В сумерках по пожарной лестнице я тоже забрался на крышу пятиэтажного здания, потом проник на чердак – и увидел ее... Она была огромных размеров, новенькая, с иностранными буквами на корпусе – наверное, концертная. Прошла неделя. Хоть был уговор надолго забыть о том, что прятали на чердаке школы, каждый день, не в силах утерпеть, мы лазали воровато на чердак, чтобы полюбоваться добычей. Нас поймала на пожарке Алла Павловна: думала разогнать курильщиков за школой – а увидела, как мы лезли на крышу. Пойманные, мы сознались, что прячем на чердаке. Колонка оказалась в кабинете директора школы. Только не сознавались, откуда она попала к нам: взять вину на себя было неправдой, а выдать Вонюкина значило стать «крысой», совершить предательство, навсегда опозорить себя.

Алла Павловна обрела равнодушный к нашим судьбам и беспощадный вид. Сказала: «Завтра сообщу в милицию».

Мы чувствовали себя героями, думая, что не сознались в главном. С какой-то наивностью верилось, что нас не осудят за воровство. Поверят, что мы ее просто нашли, а если что-то произойдет и все же установят факт кражи, то Вонюкин обязательно сам же сознается, ведь это сделал он, а не кто-то из нас.

«Я ничего не видел, поняли? Они не докажут... Говорите, что нашли... На свалке...» – шипел перепуганный Вонюкин, когда узнал обо всем. Это происходило в землянке, где мы собрались как будто в последний раз. Игорек, помертвевший от пьянства, валялся на диване. Он то начинал судорожно говорить вслух, то затихал... Он говорил, что нам надо бежать... Снаряжал куда-то на Север. Бросил тут же клич, чтобы нам отдавали деньги, какие у кого есть... Но казалось, это он зачем-то запугивал нас, чтобы стало страшно, – или просто бредил.

С утра Игорек встречал нас одиноко у школы: проводил на уроки и ждал, когда они закончатся, сидя все это время на приступке, похожий на зверя, которому тяжко даже двинуться из-за какой-то глубокой раны... Закончились уроки. Мы его окружили. Он сказал: «Пошли... Что ни услышите, молчите. И своих чтобы это... не выдавать».

Алла Павловна нас не ждала, а Игорька встретила так, будто сразу поняла, зачем он появился и что задумал: «Слушать ничего не буду. Иди вон!» Игорек переборол невольную робость и молча стоял напротив нее, всем видом давая понять, что никуда не уйдет. Она сдалась – даже что-то немощное, дряблое проявилось в ее лице. «Колонку я с выставки украл. Потом сказал, чтобы спрятали на чердаке школы. А что краденая – они не знали, я им не сказал. Все. Теперь звоните ментам». Проговорив это вызывающе спокойно, он замолчал, но директор школы тоже молчала и уже сама с робостью глядела на бывшего ученика.

«Звоните ментам!» – не вытерпел молчания Игорек.

«И позвоню, позвоню... Пусть приедут... Пусть узнают, чьи же там отпечатки пальцев!» – заголосила возмущенно и вдруг умолкла, понимая, что произойдет... «Не смей!» – крикнула порывисто, испуганно. Но было поздно. А через несколько минут, взяв себя в руки, сердито кивнула на главную улику преступления: «Это останется в школе. И никому не слова».

Мы вышли на свободу. Стали смеяться, радуясь, как все легко нам сошло с рук. Все мы думали одно и то же: Алла Павловна сделала очень выгодное приобретение для школы, а концертная колонка, которую никто бы и не догадался в ее стенах искать, наверное, окажется теперь в актовом зале, хотя могла бы достаться не школе, а нам, если бы не глупая случайность... Игорек, шедший впереди, вдруг развернулся – и мы успели увидеть только ужасную нечеловеческую гримасу на его лице. Как будто заключая в объятия, он ринулся на нас и начал избивать всех троих, а мы не успевали продохнуть, барахтались под его ударами. Казалось, все длилось несколько мгновений. Мы ползали по асфальту... А он исчез.

На месте землянки увидели мы только черную обугленную яму. Она еще дымилась. Никого не было кругом. Вокруг бродили голодные собаки – и не пугались, потому что давно привыкли к нам, а в тесном небе над свалкой галдело, как и всегда, воронье.

Казалось, жизнь оборвалась, и больше некуда идти.

**7**

Наряженные, с букетами цветов для учителей, выпускники встречались на школьном дворе... Все смешили друг друга своим видом и робели перед входом в школу, будто новички, но старались, как могли, казаться взрослыми, под стать элегантным платьям и новым костюмам. Вдруг во двор зашли с улицы двое парней, привлекая всеобщее внимание. В одном из них кто с удивлением, кто с испугом узнавали пропавшего много лет тому назад одноклассника. Вдовин был в обносках – в зимнем шерстяном свитере, что болтался мешком на худом теле, и в клоунских выцветших штанах, а его неизвестный дружок, годами постарше, красовался в линялой синеватой майке, откуда выдавались мускулистые руки в наколках. Они уселись на ступеньках парадной лестницы. Чувствуя, что его узнали, Вдовин притворился, будто ни с кем незнаком. Он, конечно, понимал, какой это был день – праздник, поэтому и заявился себя показать. И я вдруг почувствовал разочарование, от которого даже не стало больно: почувствовал, что сам пробыл все эти годы не в гуще себе подобных, а один-одинешенек. Что мне уже неинтересна их жизнь и я не понимаю, отчего надо было нам жить так тесно, почти как братьям и сестрам, воспитываться по одним правилам, как в детдоме, носить одинаковую форму, десяток лет видеть одно и то же, а может, и чувствовать, как близнецам, одинаковые страхи, радости и даже страдания, чтоб в конце концов разойтись, навсегда забыв друг о друге и о том, что с нами было.

Я встречал их на Яузе, они всегда ходили вдвоем... Мама у Вдовина, я слышал, была пьяницей. И у Лобачевского мама тоже сильно пила. С первых классов они отстали по учебе. Не помню, чтобы их вызывали к доске. Все годы сидели тишком на галерке, за спинами ребят, никто с ними не дружил. Лобачевский – худой, со впалыми синюшными глазами. Молчал все время и виновато улыбался, стоило встретиться с ним взглядом. Вдовин был другим. Упитанный, ловкий, смышленый. Когда приходила их с Лобачевским очередь дежурить в классе, он притворялся больным, и убираться оставался его дружок, за двоих.

И вот все разговоры только о них, и носится гулом: су-у-уд! В актовом зале школы выездное заседание районного суда: на скамье подсудимых – ученики седьмого класса Вдовин и Лобачевский.

Приказом директор школы отменяет все уроки. В первую минуту, когда в классах объявляют, что занятий не будет – все окрыленные, кричат и радуются. Но окрик учителя обрывает веселье, мы строимся, идем в актовый зал, на последний этаж, оставив портфели и учебники в классе.

Столпотворение на лестничных пролетах, суматоха, нервные окрики растерянных учителей делали это восхождение похожим на эвакуацию. Огромное парадное помещение распахивало свои двери только в дни особых торжеств – для концертов, выпускного бала... Даже пионерских линеек в этом зале не проводили, потому что берегли лакированный паркет. Стены здесь светились потусторонней белизной, а воздух, что долго хранил только возвышенное молчание, щекотал чем-то очень волнующим, как если бы в грудь проникало скопленное в этом зале за все время ожидание праздников. Галерея одинаковых просторных окон зеркально отражала небо, глядя прямо в его высоту, с которой – если прильнуть и смотреть на то, что творилось на школьном дворе, – виднелись лиственные полушария деревьев и муравьиное копошение человечков. Каждое окно – как парадный портрет, обрамленное тяжелым багровым бархатом гардин, будто помпезной рамой, а на нем то застывало одиноко облачко, то возникал в синеве черный промельк птицы, быстро мазнувшей по небу своим крылом. Кругом пахло новой мебелью, хотя мягким стульям, наряженным в красные велюровые костюмчики, было уже много лет. Но их столько же лет берегли, а если утруждали, то лишь несколько раз в году. Даже те, что ослабели и едва стояли на расшатанных ножках, служили украшением чуть в сторонке от стройных рядов, в углу. Мест в актовом зале хватало на всех школьников. Это было помещение куда больше спортивного зала – в нем могли уместиться все классы. Рассевшись на красных мягких стульчиках, завороженные ученики глазели на сцену.

Она, сцена, даже пустая, и массивные бархатные волны кулис, что нависали над ней – или открывали как дно морское, когда раздвигались на жужжащих механических шарнирчиках, излучали такую силу одним своим видом.

В углу, пониже сцены, у ее подмостков доживал свой век старый, разбитый немецкий рояль. Прикосновение к его клавишам грозило наказанием, и потому сильнее влекло совершить это преступление. Стоило улучить момент, чтобы близко не было учителей и Аллы Павловны, сорваться с места, опрометью броситься к цели – а тогда уж впопыхах бабахнуть по клавишам кулаком, мгновенно убегая прочь. Сколько было гордости, счастья – а старый рояль взвывал истошно или мрачно, и долго еще гудел, стонал, ныл, но что-то в нем, убитое одним ударом, под конец устало затихало. В школу ходил настройщик, старик, похожий на врача. Приходил – и всякий раз огорчался, слушая своего больного. Они долго оставались наедине, будто друг другу жаловались. В тиши из актового зала доносились то высокие, то низкие заунывные звуки, нервно отстукивая азбукой Морзе какие-то монологи, понятные лишь старику. Он уходил в расстроенных чувствах и волнительно отчитывал как бы за халатность завхоза – огромную безмолвную бабу, что надзирала за школьным имуществом, отпирая и запирая двери, за которыми оно находилось, будто в тюрьме. Она имела угрюмый вид и вечно громыхала связкой ключей. Носила их в одной руке, одной и той же рукой проворачивала без устали в дверных замках, будто и была однорука. Хоть рояль тоже подлежал учету, у нее действительно не было никакой жалости к этой старой громоздкой вещи. Но когда настройщик восклицал «какой инструмент! какой инструмент!», завхозиха становилась похожей на ребенка: внимала ему с удивлением, даже страхом, чувствуя самой непонятную вину. В ее груди прятался томный бархатистый бас. «Не сомневайтесь, больше никого к пианино близко не подпущу! У-у-у-у... Паразиты!» – звучал отпущенный на свободу голос. При этом она кому-то грозила кулаком, сжимая в нем свою огромную связку ключей, что начинали звонко галдеть будто голодные птенчики.

Судьи – скучные по виду люди – одеты были даже не нарядно, а как-то бедновато. За спинами ребят стоял конвоир. Вышла Алла Павловна: «Сегодня мы будем судить двух наших бывших учеников. Прошу внимания! Чтобы в зале была тишина». Никто из нас в тот день не думал, что окажется на суде. Вдовин и Лобачевский с месяц как исчезли из школы, были всеми позабыты – и вот сидели за партой на возвышении, наряженные в отутюженную школьную форму, в белых рубашках, застегнутых под горло на пуговку; так им было велено, потому что по решению дружины на скорую руку исключили из пионеров – лишили кумачовых галстуков.

Они глядели со сцены в огромный зал. В качестве свидетелей вызывали учителей, и они произносили речи, которые я даже не помню оттого, что не было в них никакого смысла. Это длилось с час и походило на митинг. Их судили за кражу. Когда дали слово самим подсудимым, то Лобачевский не смог ничего произнести: стоял и виновато улыбался. Вдовин просил прощения, даже заплакал... Наверное, он верил, что их не осудят, если привезли в школу. И поэтому, когда судья читала приговор, слушал его немощно, растерянно, как будто обманутый, – а когда коснулся плеча конвоир, рванулся в последней истошной надежде из-за парты, упал на колени и заголосил со сцены в зал: «Простите меня! Ну пожалуйста! Я больше не буду! Простите! Простите!..» Из-за занавеса мигом выскочили на крик двое милиционеров, схватили его под руки и уволокли. На сцене остался один Лобачевский, о котором, казалось, забыли, и это стояние его неприкаянное, свободное, длилось несколько минут, а после вышли уже за ним, подбирая под локоток – вежливо, даже картинно, как будто осознавая, что находятся на сцене.

Закрывать суд было некому. Учителя плакали. Плакала и Алла Павловна, не стесняясь слез. Школьники тихонько покидали зал. И еще несколько дней послушание царило в учебных классах, на переменах, будто все отказались от прежней жизни и начали новую.

**8**

Мало кто знал, наверное, что стало со мной, а я не знал, что стало с другими. За это время мы разменяли квартиру и переехали на другой конец Москвы, я провалился на экзаменах в институт – а тогда, в ноябре, только очутился в подмороженной столице, дуриком комиссованный из конвойных войск после полугода службы, еще коричневый от азиатского, в кожу въевшегося загара. И вот меня разыскали, позвонили: «Хороним Толю...»

Он был моим одноклассником – один из братьев, о котором, покинув, как и все, приемную эту школьную семью, я тут же забыл. Из Германии, куда он попал служить под самый вывод советских войск, думая, что повезло и увидит заграницу, вернулся цинковый гроб. Умер он не своей смертью, а какой – об этом только шептались у гроба. Родителям сказано было сопровождающими из воинской части, что застрелился в карауле. Но этому не верили... У Толи осталась дома жена и годовалый ребенок – сын, которого он даже не увидел. Эту девчонку не утешали. Она отрешилась в своем горе, казалось, с нечеловеческой серьезностью, думая только о своем детеныше и о себе. Открытый гроб стоял на двух кухонных табуретках с тонкими, похожими на спички, ножками у подъезда дома, где жил Гладков. На щеках у Толи со времени, когда он умер, отросла щетина. Он лежал в новенькой парадной форме, как и положено тем, кто возвращается со службы. А я думал об одном: как однажды ночью в карауле решил застрелиться, но не сделал этого, когда представил себя лежащим в гробу... Не оставалось тогда во мне самом никаких сил, чтобы вынести борьбу за жизнь, самой невыносимой болью которой было только одиночество, но вдруг в мгновение от выстрела я увидел себя лежащим в гробу и расплакался с жалостью к самому себе. То есть и не к себе, а к тому, другому, каким себя вдруг увидел – лежащим на дне огромной деревянной лоханки, из которой жрет смерть. И эта жалость сострадания к тому, другому, вдохнула воскрешающую силу, так что я ожил, не чувствуя больше ни боли, ни унижения, потому что жил, был живой. Меня могли убить. И я мог, наверное, убить. Но как соринку, как ничтожную соринку, другая сила – не та, что в людях, а для которой они сор, – смахнула меня вдруг в сторону, в другое место и к другим людям, в другое время и другую жизнь.

Ребят на похоронах было мало: только несколько человек, что устроились в институтах, – остальные еще служили. Храбрясь в окружении заплаканных девочек, про себя я врал, если спрашивали, что был ранен, когда нашу часть перебросили для наведения порядка в Азербайджан. Все знали о волнениях в этой республике из теленовостей – а я так врал при виде цинкового гроба, все же чувствуя по глупости Толика героем, глядя на казавшееся мужественным его мертвое лицо и стыдясь сознаться, почему сам не дослужил, комиссованный по состоянию здоровья как бракованное изделие. Стало страшно обидно за себя, как будто остальные ребята ушли на войну: сражались, погибали! Война... Война... Вот что трепетало в груди – и душа, окрыленная, когда собранный с миру по нитке духовой оркестр затянул похоронный марш, рвалась легко на какую-то войну, чтобы скорей бросить все обыденное и одолеть свою же трусость, которую так стыдно было чувствовать, глядя на мужественное лицо покойника в парадной солдатской форме. Траурная музыка звучала для меня как марш победы, пока мысли о смерти не закружились исступляюще в голове: он умер, я умру, все умрем... От обилия впечатлений, в их суетливой спешке нужно было заставлять себя думать о Толике: вспоминать его другим, живым, воскрешать в памяти его взгляд, голос. А что это значило? Что Толик умер.

Не сразу, да и не ожидая этого, я узнал среди собравшихся Аллу Павловну – и вздрогнул, как это всегда бывало в школе, когда попадался на глаза директору. Она стояла одиноко, по другую сторону гроба, и строго-сосредоточенно смотрела на Толю, как будто на ученика, от которого ждала ответа... Как я давно помнил этот ее взгляд, но никогда он не проникал в меня так глубоко, отраженный этой последней, для всех кто прощался с Толей, минутой. Я понял, что она узнала меня: когда встретились глазами – кивнула. Кончилось прощание. Родные с близкими нестройно потянулись к автобусу, в который погрузили гроб, Алла Павлова поравнялась со мной, утирая проступившие слезы. Добрая, слабая, спросила в какой институт я поступил... В какой хочу поступать... Почему не обращаюсь к ней за помощью... О ее эмиграции в Соединенные Штаты Америки стало известно так: она распродавала свои вещи и обзванивала всех, кто мог ее помнить и быть благодарным – своих любимцев из бывших учеников, родительниц, которых она когда-то чем-то облагодетельствовала. Те, кто с нею разговаривал и что-то у нее покупал, рассказывали, что никак не могла она распродать хрустальные вазы – лет тридцать ей на День учителя дарили от родительского актива хрустальные вазы. Кто-то из тех же родительниц за бесценок и приобрел по вазочке на память об Алле Павловне.

Ждал автобус, но чужое горе тогда само оттолкнуло меня от своих еще молчаливо открытых дверок. Хоронить Толю Гладкова повезли на заброшенное кладбище за Яузой, без разрешения – там и не было никакой конторы, при этом кладбище. Только чтобы к дому он ближе был. Так хотели родители, не желая понимать, что бесхозное старое кладбище, его бугры да оградки, скоро неминуемо сровняют с землей, потому что даже оно отжило свой век вместе с теми, кто упокоился, хоронил, берег, помнил... Один, я пошел к метро. Больше я не жил здесь, а если бы жил, то идти было бы некуда. Все кругом стало маленьким, как будто очень далекое. Дома, дворы... И отдалялось еще зримей, пока шел к метро, узнавая – и с чувством отданного долга теряя из виду. Можно было задержаться, даже побродить, но нельзя было вернуться – и все исчезло.

В детстве стоило подумать – и я пугался, засыпая, что могу вдруг не проснуться и больше не вернусь в этот мир, хоть он тоже казался сном. Просил: «Мама, только разбуди меня...» А она шептала, убаюкивая: «Спи, спи...» И будила утром в школу. Много-много лет я просыпался, слыша над собой: «Вставай, пора в школу!»

С первого класса я ходил в школу одной и той же дорогой. Несколько раз то мама, то сестра провожали меня, чтобы запомнил и не заблудился... За нашим домом, похожим на оплывшую парафиновую свечу, шеренга таких же хрущоб – их было четыре. Надо пройти по тропинке, выложенной из бетонных плит, мимо этих домов, после свернуть и идти прямо, а там перейти свою улицу – Седова. Оказываясь на другой стороне, я проходил мимо киоска «Табак» и с замиранием вдыхал горьковато-травянистый душок, которым он благоухал, обкуренный теми, кто стоял в очереди и просительно заглядывал в скрытное запретное окошко... Я думал, что курить, наверное – это очень вкусно, как съесть мороженое. Только оно для взрослых. Они курят и тут же становятся в очередь, чтобы взять еще несколько вкусных упаковок. Рядом, весь из стекла – киоск «Союзпечать», где продавали газеты с журналами и всякую всячину: значки, воздушные шарики, авторучки, марки... Сразу же я останавливался и заглядывался, начиная мечтать, как бы все это однажды купить, и каждая побрякушка, безделушка, вещица завораживали только во всем наборе, разнообразии и блеске. Но нужно спешить в школу, иначе опоздаешь на урок и запишут замечание в дневник... Вот кирпичный дом, в котором почта, и осталась еще половина пути: чужими дворами, срезая угол, короче и короче, напрямки! Там, в чужих дворах, я прибавлял шаг, даже зная, что здесь живут одноклассники. Меня покидало чувство своего угла, такое привычное и дающее, что бы ни случилось, опору. В ясной памяти утренних часов я перебегал тихий пустынный проезд, как будто еще одну пограничную полосу. Иногда по нему проезжал одутловатый, качающийся с боку на бок автобус. Курсировал он, набитый битком, пока не провели метро, а потом маршрут, наверное, забыли отменить. Ждать автобуса нужно было долго, поэтому и от своего дома я ходил до школы пешком. Его остановка невдалеке – безлюдная, одинокая – казалась похожей на какое-то укрытие, а укрыться в ней можно было только от дождя. Сторожевой башней, все презирая, в проезде возвышалась серая, под камень, многоэтажка, заставлявшая обходить себя с почтением; и мне грезилось, что в доме этом люди живут счастливей, чем в моем, таком невзрачном и уже далеком. На первом этаже неприступной башни жила девочка, в которую я влюбился в первом классе... А на девятом девушка, что влюбила в себя, когда учился в девятом... Только бы успеть! Вот дыра в заборе... Тропинка в саду... Двери... Раздевалка... Лестницы... Согретый общим дыханием класс... И долгое испытующее томление уроков.

Время замерло. Солнечный свет разливается за окном или хмурый сумрак, сыплет дождь или снег, волнуются ли, покоятся там, за беззвучным прозрачным стеклом похожие на стражу плотные и высокие, вровень с крышей, деревья – ничто не проникает в его колбу. В ней часы и годы. Учителя, не знающие того, что о них думают. Ожидание – от одних наказания, от других – прощения. Добро и зло, явленные в предметах, которым учишься. Записываешь долги, как заповеди, в размеченный до конца дневник. Решить задачу по математике... Написать упражнение по русскому... Девочка за партой с тобой, пахнущая, наверное, своей мамой, ласковая и нежная к своим тетрадкам, ластикам, карандашам, заколкам. Такая близкая, родная – и такая чужая, отстраненная, как доносчица, следящая за каждым, даже нечаянным прикосновением к себе. Пятерка, двойка, тройка, четверка, кол... Страх и спасение... Протянутые за ответом руки всезнаек, выпрашивающих положенную для себя благодать.

Все обрывалось сошествием в класс последнего в этот день звонка. Он отпускал на свободу. Никому не нужных с той же минуты, как будто отверженных в этом упоении воздухом, движением, собой, всем вокруг. Душа, как выросшая капля, тяжелая бременем счастья, срывалась и падала в бессмысленное буйство; а по дороге обратно, домой, утихала. Всегда он казался последним, этот звонок, но железное пронзительное дребезжание час за часом оповещало о начале и конце уроков даже ночью, когда по коридорам огромной пустой школы, наверное, бродила, как призрак, сторожиха; когда только она мучилась и не спала.

Шагая по бетонным плитам, я до сих пор испытываю подспудно чувство покоя, и оно очень явственное, выпуклое, как бывало, когда выходил рано утром из дома – на урок в школу, и беспокойство пробуждения тут же рассеивалось на воздухе; особенно зимой, в утренней лиловой мгле, когда, шагая невесомо, пружинисто по спрессованному морозом снежному насту, серебрящемуся наподобие лунного грунта, я приходил в себя от ощущения своей нездешности, как будто очутился на другой планете, далеко от Земли, а то, что ярко, холодно светило в еще мглистом небе, и казалось жалостливо Землей.